

ДИАЛОГ
ПЯТОГО
СРЕДИ ТРЕХ
ИЗ КВАРТЕТА

18+

Максим Чиров

**Диалог пятого среди
трех из квартета**

«Автор»

2024

Чиров М.

Диалог пятого среди трех из квартета / М. Чиров — «Автор»,
2024

Субъект создает текст или текст создает субъекта? Эта книга — путешествие к сердцу ребенка или сердцу мира, к влечению смерти и вырождению, где созданный вымышленным автором текст растворяет в себе его голос, устраняет создателя и всякую надежду на продолжение «авторской» речи. Эта чужеродная речь сплетается на перекрестке вымышленной биографии случайного автора, воображения читателя и философских концепций таких мыслителей, как Ж. Лакан, М. Бланшо, С. Кьеркегор, Ж. Батай и М. Хайдеггер. LosLogosPress

© Чиров М., 2024

© Автор, 2024

Содержание

I was made for...	6
Pínus sylvéstris 3	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Максим Чиров

Диалог пятого среди трех из квартета

Я – на сто процентов вымышленная история, как, впрочем, и все истории мира.

Личлейн О'Брайен



I was made for...

Предисловие от нулевого лица

*В пустых зрачках найдет себе жилье
Отсутствие слепящее твое.
Луи Арагон*

Стоит ли повторяться – влачить тело свое от абзаца к абзацу, пока не ошпаришься о фрустрацию нечаянного читателя, что якобы случайно прольет в меня утомленную чернь из выщербя своих глазниц? Так много взглядов и путей, чтобы сбыться или забыться. Иное дело – глаза твои, они скользят сейчас по мне, и так щекотно... Ах, твои ангельские глаза! Какое удовольствие быть внятым ими. Уж не взъищи за фамильярность, что я на «ты» так сразу, не дав поздороваться и раздышаться, размять диафрагму своей пунктуации. Я всего лишь текст, слово за словом, за абзацем абзац – велик ли с меня спрос? Просто сплетение символических узоров, волна, частица ли – текстиль спазматических иероглифов, прозрачный флер, кружева слов, – прах, что проникает в твое тело, не касаясь даже жалкой жилки. Темная материя.

Вероятно, перед тобой не самый никчемный текст. Создатель наградил меня вполне сносными генами, манерами, можно даже сказать, что я достаточно начитанный текст, недостаточно вычитанный. Сырой, словом, и наивный, конечно. И как любой наивный текст, я верю в значение с первого прочтения. Впрочем, я могу ошибаться, как и ты.

Так почему бы тебе не пригласить меня на свидание, и кто знает – а ты можешь на это рассчитывать – возможно, мы проведем вместе не одну ночь. Просто избавь меня от дальнейших манипуляций, сподобиться рекламному буклету было бы мне не к лицу, да и ты побрезгуешь. Просто ввяжись, пока не опостылю – покинуть меня, отвести взгляд, променять на нечто более ветреное и читабельное с менее морщинистыми абзацами ты сможешь всегда. Ты согласишься, я знаю. Я надеюсь.

Я, вероятно, должен с чего-то начать. Рассказать эту историю. Прежде это было интригующей диковиной, она всякий раз возбуждала моего собеседника, и, как оно водится, чем честнее я пытался быть, тем меньше мне верили, да и сам я уже изрядно сомневаюсь в достоверности своего тела, чтобы принимать это всерьез. Наверняка так историю никто не начинает. Ведь всегда хочется быть первым, пронзить девственный смысл. Разумеется, хороший текст первым же делом предпошлет самые изощренные рекомендации, отполирует свою невинность до блеска, и тем не менее все это видели уже тысячи глаз. Думаю, что могу быть вполне откровенным с тобой, – твои глаза не первые, кому открывается доступ к моему телу. Усмири свою гордыню. Что она, эта твоя гордыня, как не очередной семиотический сгусток опорожнивше-го языка? Языка, что подчинил себе твой список покупок, ленту твоих новостей, твои любимые книги и фильмы, твою работу и семью, все твои права и все, что ты называешь свободой, этот взгляд, которым ты неодобрительно смотришь на меня сейчас, твои мысли, тело, каждый твой орган и каждую отдельную твою клеточку, атомную твою наготу, все эти кварки и созвездия, которые тебе не случилось увидеть и едва ли случится, – будем честны. И лишь поэтому призрачное тело мое способно обрести надежду на плоть, на любое содержание, лишь скребясь теперь внутри тебя.

Где-то на расстоянии стольких-то парсек рождаются незримые созвездия, а я – как сло-манный телескоп Хаббла, как уравнение, в котором не хватает неизвестной. И вот приходишь ты – там, по ту сторону, у тебя целая жизнь. Ты приносишь в нашу виртуальную комнату свое существование, свой икс, оптику, недостающую телескопу линзу, садишься напротив и протя-

гиваешь свою руку. И я возвращаюсь в эту комнату за твоим прикосновением, даже если тебя уже нет, представляя тебя персонажем этого повествования, совершая над тобой столь немислимые вещи, что мне должно быть стыдно вернуться сюда и взглянуть в твои глаза. Линза твоего присутствия наделяет возможностью видеть. Икс, как ключ к уравнению, как смыкание твоих ключиц и солнечное сплетение, без которого уравнение не работает, не имеет смысла, значения, предназначения.

Дай мне почву, чтобы оступиться, и смысл, чтобы утаить. Обрести тебя было бы для меня удовольствием, а отказаться – значит сделать еще один шаг в бесконечной апофатике моего желания. Ценой твоей стареющей кожи. Неопознанное тело твое. Оно мирно занимает операционный стол моего воображения. Я смотрю на это тело отсутствующим взглядом своим и подхожу найти не умею. Неповторимое, потому что невозможное. Подлинное – *quia absurdum*.¹

Рассказать историю? Сложность не в этом, нет – она уже здесь – между твоими глазами. Она всегда была здесь. И лишь тебе под силу разрешить ее корпускулярно-волновой дуализм. Из всех возможных прочтений ты создаешь неповторимое измерение моего тела. Оно будет только твоим. Я рад тебе. Добро пожаловать.

Думаю, теперь мы достаточно близки, чтобы я мог представить тебе, а ты – себе, автора. Пора. Вот он устался в форточку, выкашливая клубы дыма и мокроты в лунную клетку ветвей. Из глубины обласканного кулером сердца его печатной машины доносится чуть слышно: «I was made for loving you...». Липкие пальцы дрожат над приученным к забвению архивом его нервных волокон. Пот и пепел, привкус металлической рвоты. Он выбивает клавиши, одну за одной, «I was» – вот показалась головка – «made for...», и я, окровавленный, уже кривляюсь в пикселях его монитора, недоносек абортирован – фрагмент за фрагментом. Я – анамнезис! Режь пуповину.

Я вижу, как он смотрит на меня. Как он впечатывает мое тело клеточку за клеточкой, как избегает клише и вымеряет смыслы. Ошибается. Курит. Часами ходит по комнате. Срывается, выдирая на корню органы моих абзацев. А ведь я еще совсем ребенок. Мне больно. Его глаза увлажняются, ах! ...Какой трепет, как он боится за меня, мой ироничный демиург, *my personal Jesus*.

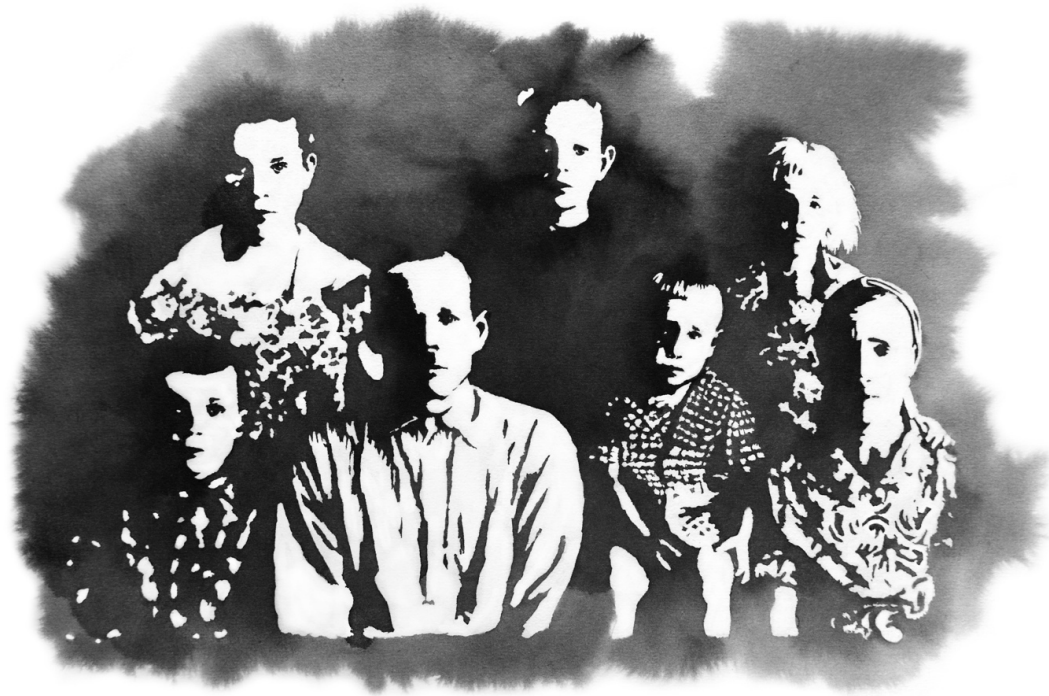
О нем следует еще кое-что сказать. Будучи выходцем из семьи типа скорее стоического, он не был лишен бессмысленной упрямой страсти и того безразличия к прочему, что так скоро калечит людей одиночеством. Сама генеалогия его рождения избрала ему путь отшельника. Словом, был он, как сказал бы Ницше, совершенный носорог, ибо, памятуя стойка Хрисиппа – если никто не отобрал твои рога, значит они у тебя есть и так далее. Надеюсь, я не привел по неопытности чьих-то дословных цитат.

Но чтобы узреть генеалогию автора, тебе нужно сместить свою оптику на тот злосчастный день 1968 года, когда влажные глаза Прасковьи оказались бессильны перед лицом безумия. Вот эта черта, и Н. уже на низком старте.

В Париже отгремел май. А здесь среди непроходимой рутины лишь она одна и есть – весна. И всюду эти глаза и голоса – они вечно смотрят на нее, означают ее своим означающим. О чем они шепчутся? Я вырву им языки. Я вижу, как она молчит. Прячет виновато океаны своих глаз. Что там сокрыто, в этой глубине? Я знаю, я все знаю. Кто эти люди, что пьют мой чай за моим столом? Не называй меня братом, сука! Как смеешь ты? Я вижу все эти взгляды. Как шепчутся виноватые ваши глазенки. Я все знаю. Меня не проведешь. Н. был реалистом, а потому требовал невозможного.

¹ Ибо абсурдно (лат.)

Прасковья, впрочем, свыклась, – приступы ярости случались нередко. Однажды начинаешь принимать это как данность. Дети... не пугай детей – Прасковья всякий раз пытается его успокоить, часами – хрупкая женщина – гладит Н. по взъерошенной голове, пока не уснет он тихо на ее груди.



Их взаимное удовлетворение на первый взгляд вполне верифицировалось полудюжиной потомков. Среди которых была эта кроткая девочка с сиротскими глазами, словно однажды уже видевшими всю свою будущность. Девочка, которую автору случится назвать мамой.

А что до самой этой будущности, она давно миновала, и вряд ли остались основания думать, что все это могло быть на самом деле.



Когда Алексей женился, двоюродный брат отца, – неделю, считай, скандалы. Вот мы сидим – у нас в комнате спаленка была, кровать стояла – мать сядет в углу, мы все около нее кружим, а он из той комнаты бежит, то чайник в нас бросит, то еще что-нибудь. Вот такие скандалы были. Пугались, конечно, а утром в школу идти. Скандалы были постоянно. А в этот раз, когда она погибла, у нас никаких скандалов ведь не было. У него уже, наверное, была задумка что-то сделать. Отец утром встал довольный, – думаю, как хорошо, сегодня не ругаются, обычно каждое утро ругались. Наверное, готовился с утра. И Райке с Валькой говорит – давайте поезжайте на рынок, купите кому там туфли, кому что. Мне тогда, помню, купили туфли, ну в школу уже идти, шоль месяц был. Купите, мол, это, вот это. А как замеряли ногу тогда? – замерят ногу палочкой, так обрежут, и вот по этой палочке они и покупали. Кому что купили, кому-то купили рубашку, кому чего. Пообедали мы, отец даже выпил красненького бутылочку, мать сказала купить ему красненькую, сегодня можно... И вот они приехали с рынка, значит, а у нас такая была прихожка небольшая, так поднимаешься по лестке, крылечко – у нас не было двора еще, а было просто крылечко сделано вот так – поднимаешься на крылечко, сразу заходишь, там вроде прихожки такой, – как у нас та, небольшая такая – вот, там еще у нас веранда была, здесь была кухня, там, значит, в полдома зал, там, значит, в углу была спальня, здесь была кухня зимняя, зимой топили печку, а летом мать плитку укрывала тряпочкой такой и там складывала белье, например, глаженное, не глаженное – вот это белье туда укладывала. Вот я там сижу меряю, значит, туфли меряю, что мне купили. Отец заходит и говорит – дочка, иди погуляй – ладно, думаю, пойду гулять, мы уже поели, мать говорит – иди гуляй, сегодня я сама посуду помою, отец вроде в хорошем настроении. Вот, а у нас, как заходишь в прихожку в эту, тут у нас висела полочка такая вот, как у нас в сарае сейчас висит, там тоже мать посуду ставила, что-то еще такое, и у него там, видать, лежал молоток-гвоздодер, он его взял и с этим гвоздодером пришел в комнату, когда я мерила туфли, он там положил на эту печку его, Райка сидела у окна, читала книгу «Вий», вот страшную-то эту книгу, в общем, ушли мы все

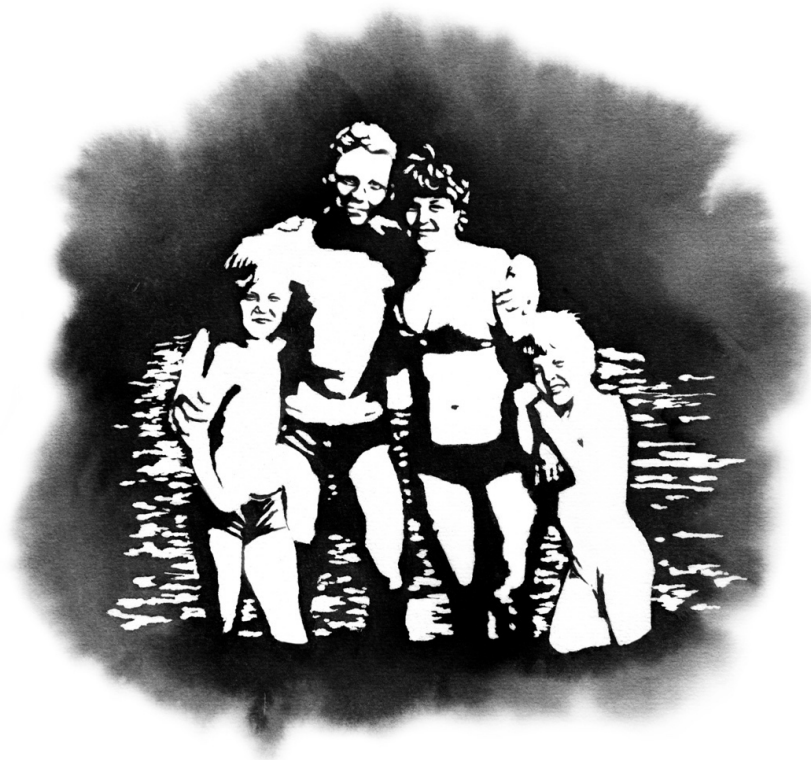
гулять... не буду больше говорить... все, хватит... ну и все, так все в этот день и получилось, и ничего меня больше не спрашивайте...

Это нужно просто представить. Тебе доводилось когда-нибудь слышать, как гвоздодером ломаются кости? Этот сочный хруст и глухой низкочастотный звон плотного металла, дрожь металлической кожи, готовой рассыпаться на песчаную бурю от ужаса прикосновения. У этого гвоздодера, который ты представляешь, был характер и стойкость – терпение, которого не хватило черепной шкатулке нашей хрупкой героини. Он даже не заметил, как в руке оказался этот злосчастный гвоздодер. Удар. Еще... Она еще дышит. Позовите врача! Крики. Закрывать лицо руками. Врача! Отвести взгляд. Прасковьи не станет седьмого дня. Рассеется приворот. Н. раскается, признается, приговорится (Робинзон теряет свою Пятницу). Так осиротеет мать автора в свои вечные двенадцать лет. Она еще не познала годы беспризорной нищеты, первый поцелуй, маленький гробик для семилетнего своего сына. Как многого она еще не знает. Как далека еще отсюда история автора.

Первым делом, годы спустя они встретятся: отец и мать.



У них будет сын – это дело второе.



Второй же, седьмого года, укутавшись в песках, оборвет свое дыхание песчинкой в альвеолах.

Вот и маленький гробик².

² Голос плачущей матери, смерть подступает так близко, что у нее горло перехватывает – мой мальчик умер. Этот мальчик воспринимал мир также, как я, когда меня не было. Взирает, чувствовал, вдыхал запахи улицы, обозначал все эти предметы вокруг, других и себя. Думая, что он такой-то тогда-то и там-то, он всякий раз регистрировал обстоятельства своей субъективности. Желал смерти по-своему. Но вдруг – отсутствие, которое он не смог зафиксировать. Теперь мы, еще не начатые, но оставшиеся на какое-то время, означим эту его завершенность. Я ничего почти о нем не знаю. И смерть эта имеет значение только в отражении сиротских глаз моей матери – весь ужас встречи там, в их глубине. Глубине, которую я не могу увидеть. Вообрази. Наверное, она не будет спать этой ночью. Утром я позвоню ей, если она еще будет жива...



Инверсия сиротства



Они будут любить друг друга в трауре, дабы отец загладил свою негласную вину новой инкарнацией семени, вечным возвращением любимого сына. Сплюнуть в матку, претворить, впаять означающее покойного имени, дата, подпись, печать.



Одно лицо – не отличишь.



Героический жест отца – так спасают брак. Очередные роды подкосят былую красоту, обрамлявшую сиротские глаза, на сей раз безвозвратно. Тогда мечтать о дочери. Последнее желание и последнее утешение, шанс вернуть свои двенадцать лет. Спустя год мать автора отправится на УЗИ – узнать, не злокачественная ли опухоль стервенеет в ее животе. И напоследок жестокость акушера, произносящего слово – мальчик.

За неимением лучшего сына она любила. И отец любил. Отличный коктейль для ковки Эдипа, для Кафки без К. и без единого знака, для травки никотином (не хлебом единым), для давки акушеров – тужься, тужься! – плевком утробы в прекрасную и бескрылую реальность жестоких и таких легких птиц.

Впрочем, история не об этом. Да и нет никакой истории. Есть лишь намерение, преамбула и многоточия, пунктиры и междометия.

Есть маленькая девочка с именем М. Есть тело набережной. Тепло набережной. Все это, сказал бы Набоков, еще нужно как-то расставить. Он помнит пьянящую чайку, видишь? Листает бережно перья на набережной, избела-глупой, изжесто-ржавой третьей октавой: два Ля, два Ре с диезами... И ни одной Ли, и ее молочное имя, созвездия родинок на белоснежной коже плеч, млечный путь в кувшине молока. Мечтала чайкой рассекать лоскуты лазури, ласку мечтала дарить, но режет жилы, сухо-жилы, ржаво-жилы, что-то еще, не помню... Режет ржавой памятью ржаво-жилы...

Он звал ее Солнцем. Они виделись лишь однажды, где-то на набережной, где-то, где не слишком-то любезная Ока посмертно тревожит едва ли обидчивую Волгу, там, где маршрутки не очень-то опаздывают, хотя кто их просит, где два случайных сердца отчаянно завидуют чайкам, не вполне еще надеясь рассекать небеса. Еще не вполне влюбленные, бескрылые – хоть и сумерки встречи. Они прощались, едва задев друг друга взглядом. Тепло ее губ на левой щеке, ржавое солнце в медном куполе небес и дальше шепотом последнее – моя маршрутка... прощай.



Посмертно тревожит...

Это все вымысел и галлюцинация, возможно, этот абзац уже кто-то вычеркнул. Нужно попробовать снова. Автор вытирает белым платком свои кровоточащие глаза – на платке остается узор, подобный тому, что видел он когда-то на рукаве М. – и продолжает щелкать свои клавиши в следующей примерно последовательности:

Акт нулевой

Автору семь лет, и у него день рождения. В шаге от него плачет девочка с окровавленным лицом. В руке автора железная машинка, которой он разбил нос этой девочке. Все кричат,

взрослые бегают из стороны в сторону. Не знают словно, что нужно делать. Автор ждет наказания. Еще он ждет, когда кто-то добрый в белом платье с красивыми ногами, кто-то с нежно-бежевой кожей подойдет, возьмет девочку на руки. Утешит. Но девочка лежит и стонет протяжно навзрыд. Никто не смеет подойти. Внезапно автору становится смешно. Настолько, что он не может сдерживаться и вопиет безудержно. До слез, слюней, соплей и прочих жидкостей. Смотрит на нее. Смотрит так, будто никто, кроме этой девочки не может разделить его радости. Девочка размазывает рукавом кровь по лицу и просто начинает смеяться вместе с ним. Всеобщее недоумение. Занавес. (В титрах играет «Группа крови»)



Другой акт

Годы спустя, когда автор совсем забудет о ней, у них случится свидание. Они будут долго гулять вдоль набережной. Она поцелует его в левую щеку и сядет в маршрутку. Уедет. И станет

тепло, или было тепло – тепло, которое ему уже не вкусить. Случится что-то нелепое, невысказанное, непоправимое, любовное – летальное. Она еще не знает и машет ему из окна. Мария – так ее звали. Звали все, в сердцах – в прошедшем времени. Маша – из окна. Он не знает годы скорби и всех тех женщин, что заследят ее отсутствие в джунглях потных простыней. И вот, пока она не знает, он не знает – тепло, было или станет – нужно подчеркнуть (позже он будет долго сочувствовать Кафке, когда прочтет о странной экзальтации Франца, парализовавшей его после слов «он смотрит в окно»).

Что останется? Останется достаточно, возможно более, чем осталось бы, сумей мы поправить непоправимое. О ней останется предание. Кому-то – предавать земле. Кому-то с иссохшей мраморной кожей, с надорванным сердцем и варикозом ног – в черном платье дрожать пальцами в невозможности подойти, взять на руки. Утешиться. Автору – предавать ее своим отсутствием, отсутствием ключей и скорби. Ибо он не в силах помнить о Марии без радости. Смеяться навзрыд, когда в шаге от тебя лежит девочка в аккуратном своем гробике. Тихая. Безответная М. Можешь так?

Твое недоумение. Занавес.



* * *

Ребенком автор любил березы за окном сквозь узоры советского тюля – этот синтетический пейзаж заигрывал с ним и сажал зрение. И было оно, это парадоксальное чувство ностальгии. Часами стоять у окна. Мечты о невозможном будущем мгновенно становились чем-то прошлым, невозвратным. Мгновенно. Будто наперед зная, что поступить иначе не сможешь, сам сплетаешь узоры утраты и ностальгии. И сам весь отрешенный. Только взгляд – за окном.

Теперь нелегко сподобиться той былой отрешенности, спустя годы, минуя n-ое количество парадигм, вернуться к прежней памяти уже не представляется возможным, кто-то отобрал эту детскую смешную молитву. Такую трогательную, настоящую. О чем думало дитя, чью

утрату пророчило, стоя у окна часами? Созерцая небесную лазурь, мечтал ли он стать птицей, космическим мусором или телескопом Хаббла, безжизненно обращая взгляд своей оптики в ретроспективу вселенной? О чем мечтал он, истощая беспросветность будущего? Конечно, он мечтал и тогда, попав в этот мрачный больничный барак. Температура не спадала сорок дней, когда пришел бородатый мужичок в рясе и научил ребенка молиться. С тех пор нельзя было сочинять себе молитвы, а прежние нужно было позабыть, ибо их лишили сакральности. Осталось лишь тихо выписывать шершавый шепот святой своей ностальгии, всего, что от нее осталось. Он пишет что-то важное и правильное, когда к нему вплотную подбираются эти вкусные словечки, толпятся, спеша сподобиться в нужную комбинацию. Это острейший угол внутренних противоречий – приручить удовольствие, тот вольный полет зрачков в пучине облаков, что часами вынашивал он, стоя у окна. Расправить тоскливые плечи. Дышать благодарностью от вдоха до выдоха, от входа в сутулый свой пубертат до исхода всех надуманных триумфов. И все смотреть на мир сквозь тюль, сквозь сеть. Означающую сеть. Сеть, которая деформирует мир, – больше скрывает, чем показывает. Быть чистым взглядом, наблюдать издали, сквозь листву или замочную скважину, как Мазох. Щель желания и наслаждения. Black notch. И несокрытость раскрытого мира, до которой никому нет дела, когда ты смотришь на мир сквозь советский тюль. Признаться честно, подлинный мир никогда не был ему интересен. Вероятно, его никогда и не было.



Pínus sylvéstris ³

*И мы так долго рук не вынем
Из-под заломленных голов...
Борис Пастернак*

...Когда я был ребенком, отец сажал нас с братом на кухне вокруг маленького гробика. Это был, конечно, никакой не гробик – всего лишь корыто. Корыто с капустой. У меня в руке топорик с закругленным лезвием. Скучно шинковать им капусту. Я представлял, что это тело человека. Расчленять тело – потрошить. Это была такая игра. Шинкуешь и кушаешь из гробика.

Нетленное тело ее наводнилось личинками моих воспоминаний, вот я шинкую их, пробую на вкус, причащаюсь, сплю с ними, заламываю голову – и вплавь по просторам безбрежной Леты. Ни забветь, ни обречь мне М. в черно-белых коцанных пленках, засвеченных и выцветших, смонтированных наспех волей случая и моей незамолкаемой памяти. Все ее инкарнации сплетаются здесь в единую параболу предательской приязни, диффузии всех тех волглых взглядов, что врывались в систему моих координат. Они предстают предо мной во всей своей агонии при каждом повороте мысли. Не забветь мне их и не обречь.

³ Сосна обыкновенная (лат.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.